

Василий Петрович Авенариус

Поветрие



Бродящие силы

Василий Авенариус

Поветрие

«Public Domain»

1867

Авенариус В. П.

Поветрие / В. П. Авенариус — «Public Domain»,
1867 — (Бродящие силы)

«Из книжного магазина Исакова в гостинном дворе выходила, в сопровождении лакея в ливрее, молоденькая, статная барышня в щегольской шапочке с белым барашковым околышком и в шубке, опушенной тем же белым барашком. Ничем не связанные пышные кольца остриженных по плечи каштановых волос вольно раскачивались вокруг хорошенькой ее головки, лучшую часть которой – выразительные, темно-синие глаза – скрывали, к сожалению, синего же цвета очки. Небольшой пухленький ротик был сжат с выражением того прелестного самосознания, которое свойственно одним очень молодым девицам, опасаящимся, чтобы их ошибкою не приняли за маленьких. Но шаловливая, детская улыбка подстерегала, казалось, из-за уголков губ, в ямочках щек, первого случая, чтобы светлым сиянием разлиться по художественно-правильному личику девушки...»

Содержание

I	5
II	9
III	15
IV	18
V	22
VI	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Василий Петрович Авенариус

Поветрие

(Петербургская повесть)

*Царица грозная чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой*

А. Пушкин

I

*Она была насмешлива, горда,
А гордость – добродетель, господа.*

И. Тургенев

Из книжного магазина Исакова в гостином дворе выходила, в сопровождении лакея в ливрее, молоденькая, статная барышня в щегольской шапочке с белым барашковым околышком и в шубке, опушенной тем же белым барашком. Ничем не связанные пышные кольца остриженных по плечи каштановых волос вольно раскачивались вокруг хорошенькой ее головки, лучшую часть которой – выразительные, темно-синие глаза – скрывали, к сожалению, синего же цвета очки. Небольшой пухленький ротик был сжат с выражением того прелестного самосознания, которое свойственно одним очень молодым девицам, опасаящимся, чтобы их ошибкою не приняли за маленьких. Но шаловливая, детская улыбка подстерегала, казалось, из-за уголков губ, в ямочках щек, первого случая, чтобы светлым сиянием разлиться по художественно-правильному личику девушки.

На улице стояла январская оттепель. С пасмурного неба сыпался, крутясь большими, мокрыми хлопьями, снег, который, едва достигнув земли, тут же таял. Нахмутив при виде снега бровки, барышня плотнее сунула себе под мышку сверток журналов, взятых из магазина (хотя с нею и был слуга, она несла сверток сама) и, повернув направо, она пошла быстрыми шагами под прикрытием гостинодворского навеса, не удостоивая внимания ни продавцов канцелярских принадлежностей, грошовых косметик и запонок, ни разносчиков апельсинов нового привоза, приютившихся под тем же гостеприимным навесом и наперерыв зазывавших к себе проходящих.

Высокий, молодой мужчина с умным, бледным лицом, обрамленным белокурыми бакенбардами, в цилиндре и в шинели с немецким бобром, приценивался у одного из апельсинщиков к его душистому товару. Разносчик, разбитной малый, преклонив колено перед своим лотком, заманчиво вертел и подбрасывал в пальцах приподнятой руки крупный, сочный королек. Голос покупателя коснулся слуха проходившей барышни; она вскинула взоры и невольно у нее сорвалось:

– М-г Ластов!

Тот быстро оглянулся.

– Наденька!

Потом, спохватившись, поправился с улыбкой:

– Надежда Николаевна...

– А я была уверена, Лев Ильич, что вы давным-давно у праотцев, – заговорила не то насмешливым, не то радушным тоном Наденька.

– Из чего это вы заключили?

– Да как же, более полугода глаз не кажете. Были как-то на помолвке кузины Монички, потом на свадьбе сестры Лизы, а там – как в землю провалились. Кому-то теперь выходить замуж, чтобы удостоиться лицезреть вас у себя?

– Должно быть – ваша очередь.

– Нет, уж дудочки!

Разговаривая таким образом, молодые люди незаметно отошли на несколько шагов от разносчика. Тот испугался, что совсем упустит покупателя.

– Барин, а барин! Дайте уж шесть гривен? Ластов на ходу обернулся:

– Сорок копеек.

– Помилуйте! Себе дороже. Прибавьте что ли пяточек? Ну, да уж пожалуйста, пожалуйста!

– Ступайте, – сказала Наденька, – я подожду. Вскоре молодой человек вернулся к ней с туго набитым бумажным мешком.

– Я угостил бы вас, Надежда Николаевна, если бы...

– Погода стояла потеплее? Ничего не значит, контрасты-то и хороши: на холодном севере упиваться плодами знойного юга! Угостите.

Ластов с готовностью развернул мешок, и девушка, взяв один апельсин, принялась со смехом очищать его. Этим временем они дошли до угла Садовой.

– Здесь нам в разные стороны, – сказал Ластов.

– А вы в каких краях раскинули шалаш свой?

– В Коломне.

– Гм... Так я вас провожу до конца гостиного, – решила Наденька и повернула по зеркальной линии. – Мне хочется потолковать с вами. Вы, Лев Ильич, знаете, конечно, что я уже студентка?

– Вы студентка?

– Да, медико-хирургической академии. Весною, как вам известно, я окончила гимназию; осенью, по совету медицинского студента Чекмарева, которого вы, вероятно, видели у нас, поступила в академию. За эти полгода, я думаю, вы меня просто не узнаете!

– Да, вы изменились...

– Возмужала, что?

– Н-да. С какой стати, скажите, вы в очках?

– Как с какой стати? Зачем люди носят очки? Вероятно, оттого, что близоруки.

– А вы очень близоруки?

– Нет, не могу сказать.

– Так советую вам не носить их.

– Отчего же? Мужчины ведь носят?

– Мужчины. Мы носим и короткие волосы: при наших угловатых чертах они нам к лицу. Вам же, женщинам, при округлых, мягких формах вашего тела необходимы и волнистые косы.

– Вы ужасно ядовиты! Не в бровь, а в глаз. Так очки потому более идут вам, что ваши черты угловаты.

– Нет, вообще говоря, они обезображивают как женщин, так и мужчин, но лицо мужчины не имеет претензий на красоту; оно должно выражать ум, силу, почему очки и сообщают ему только выражение более серьезное, сосредоточенное. В лице же женщины правильность черт, миловидность их, нежность кожи, словом, красота – главное.

– Вот как! Но я не гонюсь за красотой.

– Напрасно. Все, что красиво, – хорошо.

– Софизм! Все, что полезно, – хорошо.

– А! Так и вы затагнули эту песенку?

– Затянула. Но сами скажите, Лев Ильич: чем же мы, бедные женщины, виноваты, что имеем другие формы тела? Разве мы оттого менее люди, не можем уже пользоваться всем тем, чем пользуется ваша братия? Помните, что говорит Лопухову Вера Павловна: «Что ж из того, что у тебя баритон, а у меня контральто? Стоит ли толковать из-за таких пустяков?» Была бы только от очков реальная польза, а красиво ли, нет ли носить их – дело второе.

– Что ж, – возразил Ластов, – и в ношении очков есть своего рода реальная польза: первое, не тратятся деньги на приобретение их; второе, если вы, как женщина, станете нянчиться с ребятишками, эти при первом случае сорвут их у вас с носа.

– Ну, покудова у меня нет еще ребятишек, да даст Бог, так скоро и не будет. Я хочу оставаться свободной, чтобы собрать по возможности более научных сведений.

– Так вы положительно решились посвятить себя медицине?

– А вы думали, отрицательно, «пурселепетан»? Посмотрели бы вы на наши студенческие сходки, убедились бы, как серьезно мы предались своему делу.

– А! Так и вы участвуете в сходках?

– Что же в этом удивительного?

– И ездите туда одни?

– Одна, но на своих лошадях, в угоду родителям, которые не желают, чтобы я выходила одна из дому. И теперь, как видите, за мной неизменный телохранитель. Но вы можете себе представить, как мне это неприятно: оскорбляется чувство человеческого достоинства.

– Что же вы делаете на сходках? – спросил Ластов. – Любопытно бы, право, побывать на одной из них.

– Зачем же дело стало? Побывайте. Вот хоть бы сегодня... Вы вечером свободны?

– Свободен.

– Так приезжайте без церемоний. Мы собираемся нынче у Чекмарева. Живет он на Выборгской, по такой-то улице, дом такого-то.

– Но, может, я стесню?

– О, нет, я предупрежу. Может статься, удастся таким образом втянуть вас опять поне-много в наше общество. Послушайте, Лев Ильич, признайтесь: зачем вы корчите из себя такого заморского зверя, показываетесь в людях чуть ли не за деньги?

– Во-первых, Надежда Николаевна, я серьезно занят своей магистерской диссертацией...

– Ну, это не отговорка. Не с утра же до ночи корпеть вам над диссертацией. Во-вторых?

– Во-вторых – я боюсь вас.

– Что, что такое? – засмеялась студентка. – Чем же я так настрашала вас?

– Это тайна.

– Нет уж, договаривайте. Знаете поговорку: что замахнулся – что ударил?

– Видите ли... Я расскажу вам притчу:

Es klingt so suss, es klingt so trub!¹.

Начинается она, как всегда, тем, что

Ein Jiingling liebte ein Madchen.²

¹ Это звучит так сладостно, это звучит так печально! (нем.)

² Молодой человек любил девушку. (нем.)

Но Madchen привыкла в родительском доме к роскоши и к холе, а в кармане Tiingling'a ветры гуляли. Со временем же он надеялся сдать экзамен на магистра, на доктора и приобрести профессорскую кафедру. Вот и дал он себе зарок избегать Madchen, покуда не обеспечит своего существования.

– Какой же он чудак, ваш Jiingling, – проговорила не подымая глаз, Наденька. – Как будто нельзя видаться и до брака?

– То-то, что нет. Он убедился, что, бывая слишком часто в ее очаровательном обществе, пожалуй, не устоит: пораньше времени предложит ей руку и ногу.

– А кто ж сказал вам, что она примет их? – рассмеялась, краснея, студентка.

– Никто не говорил. Но ведь может же случиться? На грех мастера нет.

– Вы, Лев Ильич, уже чересчур заняты собою. Любить меня я, разумеется, никому не могу запретить, любите, если хотите, это уж ваше дело. Что же до меня, то я видела, вижу и буду видеть в вас не более, как образованного молодого человека, с которым не к чему прерывать знакомство из-за мании его влюбляться в первую встречную. Надеюсь, что после этого объяснения вы не станете избегать наш дом и будете заходить к нам хоть раз в месяц.

– Да, так мы не будем стеснять друг друга?

– Еще бы стеснять! Вы-то, по крайней мере, сделайте милость, не стесняйтесь: приглядится вам другая «дева чудная», не задумываясь, привязывайтесь к ней узами церкви. Меня позовите только на свадьбу: хотелось бы знать ваш вкус.

– Вам, Надежда Николаевна, он должен бы быть ближе, чем кому другому, известен?

Девушка принужденно расхохоталась.

– Какие откровенности! Да вот мы и у места, до которого я обещалась проводить вас. Так, значит, до вечера у Чекмарева?

– Значит.

– А что ж вы не снабдите меня на дорогу провиантом?

– Сделайте ваше одолжение.

Запасшись из поданного ей мешка апельсином, она насмешливо кивнула молодому человеку на прощанье головою и повернула обратно к Невскому.

II

Тра-ла-ла, барышни, тра-ла-ла-ла!

В. Курочкин

В девятом часу вечера того же дня Ластов поднимался по шаткой деревянной лестнице, освещаемой печально мигающим из амбразуры верхушечного окошка огарком, во второй этаж деревянного же дома на Выборгской стороне. Взойдя на площадку, он остановился в нерешимости: перед ним было несколько дверей. Но за одной из них слышался явственно оживленный юношеский смех и многоголосный говор.

Ластов постучался.

Когда и на вторичный стук не последовало приглашения войти, он пожал ручку двери и ступил в комнату.

Навстречу ему затрепетал тусклый свет полдюжины пальмовых свечей, вставленных в пивные бутылки. Блеск пламени умерялся еще табачным дымом, ходившим густыми клубами по комнате. Вкруг ряда сдвинутых, разного калибра и разной шерсти, столов восседало и возлежало, в самых непринужденных положениях человек 25–30 молодежи, избравших себе сидениями, за малочисленностью стульев, кто кровать, кто какой-то сундук, кто деревянный кухонный табурет. Некоторые из молодых людей были в форменной одежде студентов медико-хирургической академии, конечно, нараспашку, другие в визитках и пиджаках, третьи, наконец, находившие, по-видимому, температуру горницы чрезмерно высокою, сидели в одних рукавах. В общем ряду студентов Ластов различил и двух-трех девиц, в том числе Наденьку.

– Quis ibi est³? – обернулся к вошедшему сидевший спиной к двери хозяин комнаты, Чекмарев, студент с худощавым, угреватым лицом. – Вы? – изумился он, узнав Ластова. – Откуда вас нелегкая занесла?

– Интересовался вашей сходкой...

– Что такое? Я, по крайней мере, сколько помнится, не приглашал вас, а есть пословица: непростенный гость хуже татарина.

Тут привстал Наденька.

– Это я пригласила его. Рекомендую, господа: Лев Ильич Ластов, кандидат здешнего университета и учитель гимназии, которого вы скоро, вероятно, увидите на университетской кафедре.

– И который считает ниже своего достоинства брать менее трех рублей за урок! – колко заметила другая из присутствовавших барышень.

Учитель смерил ее удивленным взором. Девушка эта была далеко не красива. Орлиный, крупный нос придавал лицу ее выражение хищности. Выдающиеся скулы и рот, как говорится, до ушей также нимало не способствовали к смягчению этого выражения. Зато бесцветные, водянистые глаза разубеждали наблюдателя в первом впечатлении: они были слишком апатичны для хищного существа. Бледный, вялый цвет кожи изобличал недоспанные очи. Ко всему этому, девица, как бы сама сознавая свою непривлекательность, явно пренебрегала нарядом и прической, которая прикрывала до половины и без того невысокий лоб ее.

– Не имею удовольствия знать? – промолвил Ластов.

– Фамилия моя Бреднева.

– А! Вы сестра ученика моего, Алексея Бреднева?

³ Кто там (лат.)

– Сестра.
– Так не вы ли та самая девушка, про которую он говорил мне?..
– Та самая девушка, про которую он вам говорил.
– Что ж он, чудак, не объявил мне этого тогда же?
– В чем дело? – вмешалась, заинтересовавшись, Наденька. – Пожалуйста, без секретов.
– Дело очень просто в том, – объяснила Бреднева, – что я через брата своего просила г-на Ластова давать мне уроки из естественной истории; он, говорят, мастер своего дела. Но средства мои не позволяли мне предложить ему более рубля за час, а крайняя такса ему три. Сделка наша и не состоялась.

Между присутствующими послышался шепот неудовольствия и сдержанный смех. Наденька приняла сторону учителя.

– Что ж, если бы я, подобно Льву Ильичу, была занята магистерской диссертацией, то и сама не взяла бы менее трех рублей. *Time is money*⁴, говорят англичане.

– А он англичанин? – усмехнулась Бреднева.

– Полно вздор-то нести. Надеюсь, господа, вы не взыщете, что я, не спросясь, решилась познакомить его с нашими собраниями?

– Помилуйте, нам даже очень приятно, – любезно уверили хорошенькую товарку близсидевшие студенты.

– Ну, так оставайтесь, – проворчал Чекмарев. – Облачение ваше вы можете приобщить вон к общей рухляди.

Он указал на кучу сваленных в углу шинелей, серых форменных пальто и салопов.

– Где присесть, – прибавил он небрежно, – потрудитесь приискать уж сами, стулья до одного заняты.

Двое студентов, полулежащих на кровати, сжалились над бесприютным пришельцем и отодвинулись в одну сторону. Поблагодарив, он пристроился кое-как на опроставшемся месте. Наденька, сидевшая почти насупротив его, подала ему через стол руку.

– Да и вы курите? – удивился Ластов, заметив в зубах студентки дымящуюся папироску.

– Как видите. Самсон крепкий, – присовокупила она не без самодовольства.

– А родители ваши знают?

– Н-нет, – должна была она сознаться и покраснела. – Мамап, видите ли, не любит табачного запаха...

– Так-с. Вы скрываете от них из чувства детского уважения? Похвально. И вы находите удовольствие в курении?

– Пф, пф... да. Только голова с непривычки кружится.

– Так зачем же вы курите? Женщинам оно к тому же и нейдет.

Студентка сделала глубокую затяжку и сострадательно усмехнулась.

– Почему это? Мы создания нежные, эфирные, своего рода полевые цветочки; аромат наш может пострадать от едкого табачного дыма?

– Пожалуй, что и так.

– Липецкая, Ластов, *silentium*⁵! – возвысил голос Чекмарев. – На чем мы, бишь, остановились?

– Шроф описывал случай трудных родов! – отвечал кто-то.

– Извольте же продолжать, Шроф.

– Что это у вас, публичные чтения? Объясните, пожалуйста, – отнесся Ластов шепотом к соседу.

⁴ Время-деньги (англ.)

⁵ Молчание (лат.).

– Всякий из нашей среды, – отвечал тот, – кому попадется на неделе интересный случай болезни, обязан дать подробный о нем отчет. Не пользующие еще больных приводят все маломальски замечательное, прочтенное ими в книгах или слышанное на профессорских лекциях. Возбуждаются дебаты, при которых предмет окончательно разясняется.

Студент, названный Шрофом, начал свое описание. После первых же слов он был прерван, но не без ловкости отпарировал возражения; вмешались другие, загорелся оживленный спор. Хотя Ластов был профаном в медицине, и изобилие медицинских терминов, испещрявших речь споривших, затемняло ему иногда общий смысл спорного предмета, – тем не менее внимание его было живо возбуждено: он видел свежие, бродящие силы, стремящиеся с восторженностью молодости к свету науки, к свету истины. Острые, меткие замечания, как искры из кремня, сыпались справа и слева. Если прения принимали слишком полемический характер, Чекмарев, исправлявший должность президента настоящего митинга, стучал по столу и не допускавшим противоречия «*silentium!*» водворял гражданский порядок. Досаждало Ластова одно – присутствие молодых девиц, выслушивавших лицом к лицу с молодыми людьми такие подробности о некоторых физиологических процессах, которые невольным образом должны были оскорблять в них врожденную женскую стыдливость.

За Шрофом выпросил себе право говорить другой студент. В самом разгаре прений один из присутствующих осведомился у хозяина: припасено ли пиво?

– Всенепременно, – отвечал тот.

– Чего ж, вы дожидаетесь? Тащите его сюда, совсем в горле пересохло.

– *Patientia*⁶! Явится вместе с чаем; всякому *ad libitum*⁷ то или другое. Узнаем, что самовар?

Взяв в обе руки по бутылке-подсвечнику, он ударил их звонко одну об другую. В дверь высунулась голова:

– Чего вам?

– *Ipsecoquens*? Самовар?

– Сейчас закипел.

– Так подавай.

Вскоре перед председателем шипел пузатый исполин-самовар. Рядом появился поднос с чайником, стаканами (без блюдец), ножами, чаем в бумажной трубочке и грудой крупных, в полкулака, сахарных осколков. Затем был насыпан вдоль всего ряда столов вал из сухарей, пеклеванных и французских булок.

– *A butyrum vaccinum*⁸? – строго спросил хозяин.

– Сию минуту, – отвечала служанка, торопясь принести масло – кусок в несколько фунтов, завернутый еще в лавочную бумагу.

Заварив чай, Чекмарев наклонился под кровать и, отодвинув, не говоря ни слова, в сторону ноги Ластова, вытащил из-за них полновесную пивную корзину.

Потом с тщанием начал расставлять симметричным треугольником батарею бутылок посредине стола.

– Кто пьет пиво, – объяснил он, – пьет его в эмбриональном виде, непосредственно из бутылок; стаканы определены для чаю.

Пивной треугольник тут же расстроился. Наденька завладела одной из бутылок и пальцами ловко раскупорила ее.

– Оно ведь фрицевское? – обратилась она деловым тоном к Чекмареву.

– Само собою.

⁶ Терпение (*лат.*)

⁷ По желанию (*лат.*)

⁸ Бутерброд? (*ит.*)

Студентка взглянула мельком на Ластова – и сконфузилась: глаза их встретились.
– Чему вы удивляетесь? – спросила она развязно. – Пиво очень питательно.

Nunc est bibendum!
Nunc pede libero
Pulsanda tellus.⁹

Встряхнув кудрями, она приложилась губами к горлышку, но, от чрезмерного усердия, чуть не захлебнулась и раскашлялась.

– Век живи, век учись, – оправившись, сказала она и, не падая духом, вновь поднесла ко рту питательную влагу.

– Вы, Липецкая, – обратился к ней Чекмарев, – желали, кажется, изложить кое-какие мысли по поводу молешоттовского «Kreislauf des Lebens»¹⁰?

– Да, и прошу слова, – отвечала она, смело взбрасывая свою хорошенькую головку.

– Внимание же, господа! – провозгласил председатель, прибегая к своему неизменному вечевому колокольчику-кулаку. – Будет говорить одна из достоуважаемых товарок наших – Липецкая.

Говор умолк; взоры всего собрания с любопытством устремились на студентку-оратора.

Наденька поправила очки, оперлась руками на стол, откашлянулась и заговорила:

– Господа! Все вы, без сомнения, до одного знаете Молешотта, как свои пять пальцев? Не сомневаюсь также, что во всем, исключая разве незначительные частности, вы сходитесь с ним в воззрениях на духовную жизнь человека, на значение его в ряду остальных органических творений. Представьте же себе, что некий индивидуум не ознакомился еще с основными истинами мира; спрашивается: следует ли нам, посвященным, оставлять его в неведении или нет?

– Что за вопрос! Разумеется, нет, нет и тысяча раз нет!

– Хорошо-с. Но ежели сказанный индивидуум страшится наших суждений, ежели нарочно затыкает уши, чтобы не слышать нас, всеми святыми упрашивает не говорить ему ничего более, – как поступать в таком случае?

Бреднева, сидевшая до этого времени неподвижно, безучастно, изменилась слегка в лице, отделилась головою от стены, к которой прислонялась, и тихо промолвила:

– Ты это про меня, Наденька?

– Да, про тебя, коли ты уже сама выдаешь себя.

– Беру вас, господа, в свидетели, – обратилась Бреднева к окружающим, – имела ли я основание просить ее молчать? Я еще так слаба в естественных науках, что не могу вполне проверить те факты, на которых построены ваши теории. Факты эти могут только спутать меня; ничего не давая взамен, лишить меня краеугольных камней теперешнего моего консервативного мирозерцания, – камней, быть может, и вырубленных не из плотного мрамора, как ваши, а из рыхлого песчаника, но тем не менее служащих хоть каким ни есть фундаментом для моих шатких, отрывочных понятий. Ваши же мраморные глыбы обрушиваются на меня горной лавиной и грозят раздавить, расплющить меня.

– Бреднева в известном отношении права, – наставительно заметил Наденьке председатель. – Ребенка вы ни за что не научите читать, пока не покажете ему, как выговаривать отдельные буквы. Как же вы хотите, чтобы она поняла что-либо разумное, когда не может еще проверить на опыте подлинность приводимых вами данных?

⁹ Теперь – пируем! Вольной ногой теперь Ударим оземь! (лат.)

¹⁰ Круг жизни (нем.)

– А вы, Чекмарев, в том только и убеждены, что проверили сами на опыте? Вы уверены, например, что земля не стоит на трех рыбах, а несется в пространстве, что она почти сферична, у полюсов только еле сплюснута? Ведь уверены?

– Ну, разумеется.

– Что же вас убедило в том? Делали вы опыты с маятником Фуко, измеряли самолично меридианы? Наблюдали наконец с помощью телескопов лунное затмение?

– Нет.

– Откуда же у вас уверенность, что земля апельсинообразна? Из книг вычитали? Да, может, книги лгут? В том-то и дело, любезнейший мой, что ни один смертный не может быть специалистом по всем отраслям знания, что мы должны верить на слово своим братьям по предметам нам чуждым. Вам даются готовые факты – выводите заключение. А не можете сами, так специалисты разжуют за вас и в рот вам положат, знайте только глотать. Первое дело, чтобы убеждения ваши были истинны, а так ли, иначе ли дошли вы до них – дело второстепенное.

– Все это очень красиво сказано, – возразила Бреднева, – но кто, скажи, отвечает мне за то, что ваши-то убеждения и суть истинные, что они не глупое, одуряющее вино?

Пиво поднялось в голову студентке. Она с лихорадочной живостью вскочила с места, загасила с сердцем об стол папиросу и с пылающими щеками, с раздувающимися от волнения ноздрями (глаз ее, за синим цветом очков, не было видно), обратилась к оппонентке с крылатою речью:

– Что такое? Наши убеждения – глупое вино? Убеждения Ньютона, Канта, Гете – глупое вино? Убеждения первейших натуралистов нашего времени – глупое вино? Одни ваши понятия о мире, понятия профанов в науке мира, верны и непреложны? Поздравляю! Вот так логика! Подлинно, логика профанов!

– К чему так горячиться, моя милая, – остановила порыв гнева холерической ораторки ее лимфатическая подруга. – Я знаю людей, круглых профанов в науке мира, то есть в естественной истории, а между тем весьма неглупых, приносящих обществу немаловажную пользу. У всякого барона своя фантазия. Мы убеждены в одном, вы в другом: «Кто прав, кто виноват – судить не нам». А ведь может же случиться, что ваше ученье все-таки глупое вино? В таком случае ты, отбравив меня насильно от истины, возьмешь ведь грех на душу?

– Если учение наше в самом деле ложно, то ты, так или сяк, рано или поздно, убедишься в том и можешь воротиться на путь истинный. Ложь недолговечна и распадается сама собою.

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернить,
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертить.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей,
Создание гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Но в том-то и дело, что мы не художники-варвары, вы же не картины гения, а лубочные, толкучные!

– Позвольте и мне сделать одно замечание, – вмешался тут Ластов. – Всегда ли хорошо навязывать другим свои убеждения, если они, по-вашему, даже вполне верны? *Mundus vult decipi – ergo decipitur*¹¹. Они счастливы со своим мирозерцанием, а вы взамен их отрадных,

¹¹ Мир хочет быть обманутым – поэтому он может быть обманут (*лат.*)

светлых иллюзий даете им одну горькую, голую истину, которая может отравить им всю будущность, довести их, пожалуй, до отчаянья.

Вокруг столов поднялся глухой ропот, сквозь который можно было расслышать нелестные для учителя эпитеты:

– Консерватор! Филистер! Тупоумец!

– Et tu quoque, Brute¹²? – продолжала, все более воодушевляясь, Наденька. – Не лучше ли уж отчаиваться, чем жить весь век, хотя относительно счастливо, неразумною тварью? Горчайшая истина все-таки в миллион раз лучше сладчайшей лжи. Да и будет ли кто еще отчаиваться? Вот хоть бы я: не прошла еще, кажись, до конца концов естественных наук, а вполне уже разделяю воззрения натурфилософов, нимало не надеюсь, что в заключение меня по головке погладят; и ничего себе, живу, не рву на себе с отчаянья волос. Гасители же судят о нас как? «Не ожидают, мол, за свое поведение ни розог, ни наградных пряников, так что же им препятствует сделаться первостатейными мошенниками и злодеями?» Слепцы! Да ведь это – то самое обстоятельство, что мы не признаем над собою фантастического *deus ex machina*, что мы сами должны устроить свое земное счастье, и побуждает нас поступать по совести, творить по мере сил добро. Первое условие истинного счастья – все же самоуважение! Если я, положив руку на сердце, могу, не краснея, сказать себе: «Ты делала все, что было в твоей власти для облегчения жизни твоим ближним, за тобою нет ни одного гнусного поступка, ты можешь уважать себя», – тогда душа моя светла, безмятежна, как безоблачное небо, тогда я счастлива! А надломят мою физическую, слабосильную натуру житейские невзгоды – совести моей они не сломят; я умру, весело улыбаясь! И после возможности на свете подобного счастья оставлять еще людей утопать в невежестве, давать им наслаждаться их паточными пряниками? Ни за что! Пусть слабые очи некоторых и не вынесут блеска ничем не прикрытой, ослепительно-чистой истины, пусть они, как саисский юноша, растеряются и прохнычут всю жизнь – туда, стало быть, и дорога! Не было здоровых задатков для настоящего человека – ну, и жалеть нечего!

Легко себе вообразить, какой энтузиазм возбудил в пылкой молодежи спич восторженной студентки. Ластов собирался еще что-то возразить, но никто уже не обращал на него внимания. Раздались единодушные рукоплескания, возгласы восхищения, топот ног; сам положительный президент не мог воздержаться от удара раз два одной ладони о другую.

Речью Наденьки закончился вечер. Начались сборы. Всякий, не без затруднения, выискивал свое верхнее платье из сваленной в углу общей груды.

¹² И ты тоже, Брут? (лат.)

III

Польза, польза – мой кумир!

М. Лермонтов

Когда молодежь повалила гурьбой на улицу, Наденька первая укатила в дожидавшихся ее одноместных дрожках.

Ластов очутился около Бредневой.

– Нам, кажется, по дороге... – начал он.

– Нет, не по дороге! – коротко отрезала она и пошла быстрее.

Он, смеясь, на столько же ускорил шаги.

– Да ведь вы не знаете, где я живу?

– Где бы ни жили – нам с вами никогда не по дороге.

– Вы злопамятны, – продолжал учитель. – Надежда Николаевна заметила очень основательно, что мне время нынче дорого: я даю именно столько уроков, чтобы не умереть с голоду. Не забудьте также, что я на другой же день одумался, просил вашего брата передать вам, что все-таки готов учить вас, но тут уже вы сами отказались.

– Отказалась, потому что не желаю получать милостыню. Я, поверьте мне, заплатила бы вам и более рубля за час, если бы только позволяли средства. Вы, г-н Ластов, должны войти в мое положение: живу я с матерью и братом; мать получает незначительную пенсию; брат и гроша еще заработать не может; главная забота о нашем пропитании лежит, следовательно, на мне. Окончив в прошлом году вместе с Липецкой гимназией, я принуждена была принять место бухгалтерского помощника в купеческой конторе. Там утро мое все занято. До обеда я даю уроки музыки. Таким образом, для себя, для собственных занятий я имею только вечер. А сколько успеешь сделать в вечер без посторонней помощи? Посещать лекции в академии могу я только урывками, сходки несколько чаще, но также не всегда. Мне нужен был опытный руководитель, который помог бы мне восполнить то на дому, что я упускала на лекциях. В первых курсах академии главную роль играют естественные науки. Я обратилась к вам как к капитальному натуралисту – вы отказались...

Учитель слушал экс-гимназистку с большим сочувствием.

– Вопрос теперь только в том, – сказал он, – есть ли в вас вообще призвание к медицине?

– Это покажет будущность.

– Нет, это необходимо знать уже заранее, чтобы не тратить попусту трудов. Извините: как вас по имени и отчеству?

– Авдотья Петровна.

– Вы, Авдотья Петровна, сколько я успел заметить, – флегматка и, вероятно, любите покой, комфорт?

– Люблю; что греха таить.

– Вот видите. А жизнь врача – вечная каторга, непрерывная возня с народом изнывающим, причудливым, с которым требуется ангельское терпение. Будете ли вы в гостях, приляжете ли дома у себя отдохнуть от дневной беготни – во всякое время дня и ночи вас могут отозвать к пациенту, и вы волей-неволей обязаны повиноваться, не прекословя дышать опять полную грудью в атмосфере морально и физически удушливой, часто заразной. А не пойдете раз или своенравную воркотню больного не снесете хладнокровно – мигом лишитесь практики, а следовательно, и пропитания.

– Лев Ильич, вы немилосердны! Профессия врача всегда мне казалась такой благородной...

– Без сомнения, она весьма почтенна и представляет безграничное поле для постоянных самоотвержений. Но она требует и нрава кроткого, воли железной, нервов и мышц неутомимых. За неимением этих качеств врач или делается подлым шарлатаном (и сколько-то их на белом свете!) или подкапывает в самое короткое время собственное здоровье, ради здоровья других; а ведь всякому своя рубашка ближе к телу. Людей очень молодых, пылких и исполненных благородного стремления жертвовать всем для блага ближних, обязанности врача пленяют именно своей очевидной пользой; не испытав всех неудобств, неразрывно связанных с этими обязанностями, они вряд ли подозревают их. Вы бывали в Эрмитаже?

– Как же!

– И видали там морские виды Айвазовского?

– Видала.

– Не правда ли, как увлекательно хороши его бури? Вода, прозрачная, смарагдовая, что твой рейнвейн, плещет до небес; корабль, с разодранными в клочки парусами, опьянел и захлебывается; экипаж повис на снастях и мачтах, и волны, славные такие, хлещут им через головы. Глядишь, не налюбуйешься великолепию и только! А попробуй вы сами переиспытать кораблекрушение, посидеть среди свиста и рева урагана, на расщепленной мачте, окачиваемые каждый миг с головы до ног ледяным рассолом – куда бы девалась для вас вся поэзия бури!

Бреднева поникла головою.

– Вы разбиваете лучшие мои мечты... Если бы вы только знали, Лев Ильич, как мне приелась бухгалтерия! Мертвая цифра да эти бесконечные вычисления...

– Авдотья Петровна! Вы жалуетесь на сухость бухгалтерии, да мало ли на свете суши? Вы думаете, мне интересно изо дня в день вдальблывать в неразвитых мальчуганов одни и те же научные азы? А чиновником быть, вы полагаете, весело? По одной заданной форме кропать бумаги да бумаги? Или, и того хуже, переписывать и подшивать листы, как то зачастую выпадает на долю молодым канцелярским, хотя бы и окончившим в университете высший курс наук? А каково, скажите, управлять заводом? С утра до вечера возиться с бестолковыми рабочими и ни с душой живого слова не перемолвить? Нет, если не сжиться со своей работой, не вдохнуть в нее жизни, то она и останется бездушной. Что же до вашей бухгалтерии, то она – занятие совершенно по вас: спокойное, безмятежное, требующее всегда напряженного внимания, нередко и умственного соображения, а главное – хлебное.

– Да пользы, Лев Ильич, пользы нет от нее!

– А вам сколько платят?

– Да нет же, я не хлопочу о своей выгоде, я говорю о пользе общественной.

– Общественной? Ах, Авдотья Петровна, оставьте покуда общество в стороне, достаточно с вас, право, забот ваших о благосостоянии матери и брата. Если бы только всякий из нас исполнял добросовестно выпавшие на его долю обязанности, поверьте, всем бы жилось хорошо. Общественная польза есть здание, на постройку которого каждый должен принести один только кирпич, но кирпич этот должен быть уже высшего сорта.

– Приходится открыться вам, Лев Ильич, – проговорила, заминаясь, Бреднева. – В гимназии я была всегда первой, и гимназический курс, сказать не хвалясь, знаю весьма-таки изрядно. Только математике нас учили спустя рукава. Взявшись за бухгалтерию, я чересчур понадеялась на себя; теперь запутала дело, наделала ошибок, не знаю еще, как выпутаюсь.

– Но как же вам доверили счетную часть, когда вы так слабы в ней?

– Один товарищ брата, сын купца, рекомендовал меня своему отцу... Да ведение книг я и без того знаю; только эти вычисления, пропорции сбивают меня.

– Так попросите брата растолковать вам пропорции; они в сущности очень просты.

– Ах, нет, Лев Ильич, бухгалтерия мне уж по горло, я все-таки брошу ее. Мне хочется чего-нибудь свежего, живого.

Ластов с сожалением пожал плечами.

– Дай вам Бог успеха на поприще медицины. Я, со своей стороны, не хочу быть вам помехой. Занятие естественными науками во всяком случае увеличит запас ваших знаний, разовьет вас. Прошу вас поэтому забыть прошлое и сделаться моей ученицей.

Бреднева быстро повернулась к нему всем лицом. При свете ближнего фонаря он увидел как в бесцветных глазах ее блеснул при этом луч удовлетворенного самолюбия.

– То есть как же так? – спросила она. – По рублю за час?

– По рублю.

– Вы, Лев Ильич, великодушничаете, но чтобы показать вам, что я не упряма, я не отказываюсь. Вот вам рука моя. Вы человек благородный, хотя... маленький консерватор.

Когда Бреднева сказала своему будущему наставнику свой адрес, то оказалось, что они живут друг от друга в какой-нибудь четверти часа ходьбы, хотя в начале разговора она и объявила, что им «не по дороге». Теперь они оба над этим посмеялись и на общем извозчике доехали до квартиры Бредневой, где по-дружески распростились.

IV

*Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь!*

А. Пушкин

В условленный день и час учитель явился на урок. Первый прием, сделанный ему, был далеко не любезен. Едва ступил он в переднюю, как косматая, средней величины собака, злобно рыча, бросилась к нему на грудь, стараясь допрыгнуть до его лица. Мать Бредневой, седая старушка с добродушной, незначительной физиономией, впустившая Ластова, совсем растерялась.

– Ах ты, Господи! Ксеркс, куш!

Но в это время нижняя челюсть Ксеркса очутилась уже в железных пальцах гостя, которые, как видно, сжимали ее не очень-то ласково, потому что бедное животное, извиваясь змеем, жалобно завизжало, напрасно силясь высвободить челюсть из неожиданных тисков.

– Что, голубчик, непривычно? – говорил учитель, трепля его свободною рукою по взъерошенному хребту. – Ну, ничего, ступай, будет, я думаю, с тебя.

Он разнял пальцы. Поджав хвост и тихо ворча, побежденный Ксеркс поспешил ретироваться за перегородку, отделявшую прихожую от кухни.

– Экая злая собачонка! Но она умна и верна, вот за что мы ее и держим, – извинилась г-жа Бреднева, все еще не оправившаяся от перепуга; потом взглянула приветливо-вопросительно на гостя: – Г-н Ластов?

– Так точно, – отвечал он. – А вы, если не ошибаюсь, матушка Авдотьи и Алексея Петровичей?

– Да-с, да-с. Но не причинила ли она вам боли, Боже сохрани?

– Нет, – улыбнулся Ластов, – ей, во всяком случае, было больнее, чем мне. Но мы будем еще добрыми друзьями. Дети ваши дома?

– Да, они только что за книжками. Не угодно ли войти?

Она повела учителя во внутренние покои; их было весьма немного: всего два. Первый, довольно просторный, был разгорожен во всю длину зеленой, штофной драпировкой, за которой должно было предполагать кровати. Меблировка, комфортабельная и полная, напоминала о лучших временах. Дверь во вторую комнату была притворена; старушка тихонько просунула в нее голову.

– Дуня, можно войти? Г-н Ластов пришел.

– Разумеется, можно, – ответил изнутри голос дочери. – Попросите его сюда.

Г-жа Бреднева толкнула дверь и пропустила вперед гостя. Комната эта по объему была вдвое меньше первой, с одним лишь окном, перед которым за рабочим столиком занимались при свете полуторарублевой шандоровской лампы гимназист и сестра его. После первых приветствий между наставником и питомцами старушка смиренно исчезла, взяв с собой и сына.

– Что вы тут подельвали? – осведомился Ластов, когда они с ученицей остались одни.

– А латынь подзубривали, – отвечала она, – исключения по третьему склонению:

Panis, piscis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, cinis...

Спросите-ка меня что-нибудь, Лев Ильич? Вот Кюнер. Чтобы удовлетворить ее желанию, Ластов стал перелистывать поданную грамматику.

– Как же *infinitivum futuri passivi* от *caedere*?

– Это что такое?

– Глагол: *caedo, cecidi, caesum, caedere*.

– Мы еще не дошли до глаголов... – отговорила в минорном тоне девушка. – Вы бы переспросили исключения по третьему...

– Извольте. Скажите мне исключения мужского рода на *es*?

– Мужского же на *es*

Суть *palumbes* и *verpes*

– А «лес»?

– «Лес»? – Бреднева стала в тупик. – В самом деле, ведь лес мужского рода, – проговорила она раздумчиво. – Отчего же его не привели тут?

– Оттого, – усмехнулся Ластов, – что он пишется не *рез es*, а через *n c*.

Два розовых пятнышка выступили на бледных щеках ученицы; она принужденно улыбнулась.

– Ведь вот как иногда бываешь глупа! Точно обухом хватили. Русское слово, конечно, не может быть в исключениях латинского языка.

– А как ваши познания в естественных науках? По какой части естественных наук вы сильнее?

– Да по всем слабее! У нас ведь в женских учебных заведениях на естественную историю смотрят как на игрушку, на собрание фокусов. Вот другое дело – история неестественная! В той я действительно сильна; из нее у меня всегда стояли пятаки с плюсом. Вы, Лев Ильич, должны ознакомиться с познаниями вашей ученицы по всем отраслям знания. Задайте-ка мне вопрос из истории?

– Если желаете. Что было главным мотивом для крестовых походов?

– Да вы не так спрашиваете... Спросите какой-нибудь факт.

– Когда начались крестовые походы?

– Ну, уж какой легкий вопрос! Первый крестовый поход был от 1096-го до 1099-го, второй...

– Так; но *до* или *после* рождества Христова?

– Дайте подумать... Боже мой, как же я это забыла?

– Да из-за чего, собственно, состоялись крестовые походы? Ведь из-за гроба Христова? Кровь бросилась в голову девушке.

– Какая я бестолковая! Вот вам наше женское воспитание! Все выучено как-нибудь, для урока только, без толку, без связи. В эту минуту я, кажется, не в состоянии даже сказать вам, кто прежде царствовал: Александр Македонский или Александр Великий?

Сострадательная улыбка появилась на губах учителя.

– А и то, постарайтесь-ка припомнить: кто из них жил раньше?

Бреднева глубокомысленно устремила взор в пространство. Вдруг она вздрогнула и закрылась руками.

– Ах, батюшки мои, да ведь это одно и то же лицо!

– Не падайте духом, – старался утешить ее Ластов. – Ничто не дается вдруг. Как возьмется толково за дело, так все еще, даст Бог, пойдет на лад.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo,
Homo venit doctus non vi, sed semper studendo.

13.

– И этого не понимаю... – прошептала ученица.

– По-нашему это: капля по капле и камень долбит. Продолжайте свои занятия латынью у брата: латинский язык также содействует умственному развитию, займитесь, если успеете превозмочь себя, и математикой. Мы же с вами примемся сряду за естественные науки. В начале я намерен посвятить вас в орнагографию растений: она доступнее прочего. Уж скоро семь, – прибавил Ластов, глядя на часы. – Прикажете начинать?

– Сделайте милость, – проговорила, не взглядывая, пристыженная экс-гимазистка.

Началась лекция. Юный натуралист имел дар говорить плавно, удобопонятно, картинными сравнениями, и того более: он говорил с любовью к излагаемому предмету, почему речь его приобретала некоторый поэтический колорит. Для большей наглядности он описываемое им чертил на листе бумаги, причем выказал также заметный навык в рисовании. Известно, что ничто так не располагает слушателя к внимательности, как видимое сочувствие самого повествователя к своей теме. Бреднева слушала учителя с притаенным дыханием, боясь проронить слово. Лицо ее зарумянилось, глаза увлажнились; отблеск вдохновенной лекции натуралиста-поэта упал на непривлекательные черты ее и сделал их почти миловидными.

В соседней комнате пробило восемь. Ластов прервал поток своего красноречия.

– На сегодня, пожалуй, будет? Девушка очнулась, как от волшебного сна.

– Как время-то пролетело! В самом деле, вы, вероятно, утомились. Но вы, конечно, напьетесь у нас чаю?

И, не дожидаясь ответа, она, с непривычною для нее торопливостью, вышла.

Ластов хорошенько потянулся, потом вскочил на ноги и, присвистывая, прошелся по комнате. Теперь только разглядел он убранство ее в подробности. Поперек комнаты, против окна, стояли зеленые ширмы. Ненароком заглянув за них, он увидел платяной шкаф, обвешанный со всех сторон разнообразными женскими доспехами, и кровать, усыпанную снятым бельем. Над изголовьем висело три портрета в простых, черных рамках: Герцена, Добролюбова и Чернышевского. Учитель огляделся в комнате: по одной из продольных стен стояли массивный туалет со сломанной ножкой и два-три стула; по другой – незакрытое пианино, на котором валялась недоеденная корка черствого хлеба, и далее – этажерка с нотами и книгами. Ластов взял со стола лампу и присел у этажерки. На верхних двух полках были навалены непереpletенные, растрепанные и засаленные номера «Современника» и «Русского Слова» за два прошлые года. Ниже были расставлены в пестром беспорядке отдельные тома сочинений Бюхнера, Фохта, одна часть истории Маколея на английском языке, какой-то роман Жорж Занд, «*The'orie des quatre mouvements*» Фурье.

Вошла Бреднева с подносом, уставленным всевозможными чайными принадлежностями.

– У нас нет прислуги, – пояснила она. – А! Вы ревизуете мою библиотеку? Ну, что, каков выбор книг?

– Односторонен немножко.

– Да, я и сама сознаю, что многого еще недостает; но курочка по зернышку клюет. Я попрошу вас когда-нибудь разъяснить мне некоторые выражения, попадающиеся зачастую в серьезных сочинениях, как-то: «индукция», «дедукция», «субъективность» и «объективность», «индивидуальность», «эксплуатировать»... За исключением подобных слов мне все понятно. Любите вы, Лев Ильич, музыку?

– Еще бы. А вы хотите сыграть мне что-нибудь?

– Да, чтобы чай вам показался вкуснее.

– Предупреждаю, однако, что в ученой музыке я круглый невежда.

¹³ Капля точит камень не силой, но частым падением, Человек приобретает знания не силой, а постоянной учебой. (лат.)

– Мы попотчует вас оперной.

– Вот это дело.

Она села за инструмент и заиграла. Играла она бойко и с чувством. Окончив пьесу громовым аккордом, она приподнялась и медленно подошла к учителю.

– Теперь вам известны все мои достоинства и недостатки. От вас будет зависеть развить первые, искоренить последние.

Ластов пристально взглянул ей в глаза.

– Все? – спросил он.

– Все.

– И вы не рассердитесь? Я присоветую вам как старший брат.

Легкое беспокойство выразилось в апатичных чертах девушки.

– Все равно, говорите.

– У вас есть некоторые достоинства вашего пола: есть неподдельное чувство, как показала сейчас ваша игра. Отчего бы вам не быть в полном смысле слова женщиной, не быть хоть немножко кокеткой?

– Что вы, Лев Ильич! При моем уродливом лице да кокетничать – ведь это значит сделать себя посмешищем людей.

– Кто вас уверил, что вы уродливы? Лицо у вас обыкновенное, каких на свете очень и очень много, а при тщательном уходе может и понравиться мужчине. Притом же я советую вам не кокетничать, а быть кокеткой, то есть заняться более собой, своей наружностью. Вы... как бы это выразить поделикатней?

– Ничего, говорите.

– Мы слишком небрежны... неряшливы. Бреднева потупила глаза.

– Да в чем же, Лев Ильич?

– Я заглянул как-то за ширмы – и решил дать вам совет быть более женщиной.

Девушка заметно сконфузилась и не знала, куда повернуть свое раскрасневшееся лицо.

С минуту длилось неловкое молчание. Ластов взял за шляпу.

– Когда прикажете явиться на следующий урок?

– Да через неделю...

– Не редко ли будет? Этак мы не скоро подвинемся вперед.

– Но мне нельзя, Лев Ильич...

– Время вам не позволяет?

– Не то... Мои денежные ресурсы...

– О, что до этого, то, пожалуйста, не заботьтесь. У вас есть охота учиться, а прилежным ученикам я всегда сбавляю половину платы. С вас, значит, это составит по полтине за час.

Ученица подняла к нему лицо, с которого светилась непритворная благодарность.

– Вы уж не позволительно добры! Но я не смею отказаться. Приходите, если можете, в четверг.

– Могу.

– Вы захватите с собой и учебников?

– Учебников, живых растений, микроскоп. До свидания.

– До приятного! Для меня, по крайней мере, оно будет, наверное, приятным.

V

*Я целый час болотом занялся...
Лишь незабудок сочных бирюза
Кругом глядит умильно мне в глаза,
Да оживляет бедный мир болотный
Порханье белой бабочки залетной...*

А. Майков

«Милостивый Государь Господин магистр in spe¹⁴!

Сколько по Вашему расчету дней в месяце: 30 или 40? К тому же теперь у нас февраль, где их не более 29-ти. Впрочем, цель этой записки вовсе не та, чтобы укорить Вас в забывчивости: не воображайте, пожалуйста, что по Вас соскучились. Дело в том, что к нам будут сегодня Куницыны с компанией, которых Вы, вероятно, давно уже не имели удовольствия видеть (хотя доза этого удовольствия и будет гомеопатическая). Сверх того – и это главное – у меня имеется для Вас одна старая знакомка (но премолоденькая, прехорошенькая! Куда лучше Вашей Бредневой), которой бы, Бог знает как, хотелось поглядеть на Вас. Все пристаёт с расспросами: „Да и ходит ли он к вам? Да когда ж он наконец будет?“ Надеюсь, domine Urse¹⁵ (имя Leo Вам вовсе не к лицу), что хоть ради этой особы Вы вылезете из своей берлоги.

P.S. Приходите пораньше».

Такого содержания письмо было вручено Ластову гимназическим сторожем при выходе учителя со звонком из класса. Подписи не было. Но и по женскому почерку, как и по содержанию послания, он ни на минуту не задумался, от кого оно. Сначала он поморщился и, видимо, колебался, идти ли ему или нет; в восьмом же часу вечера он звонил в колокольчик у Липецких.

Отворила ему цветущая, полная девушка с большими, навывкате, бархатными очами и слегка, но мило вздернутым носиком, в народном костюме бернских швейцарок.

– Ach, Herr Lastow! – радостно вспыхнула она, чуть не уронив из рук свечи.

И по лицу Ластова пробежал луч удовольствия, но вслед затем брови его сдвинулись.

– Marie... вы здесь? Из Интерлакена да в Петербурге? – спросил он по-немецки.

– Да, в Петербурге... Признайтесь, вы не ожидали? Хотелось посмотреть, как вы живете-можете...

– Но где фрейлейн Липецкая изловила вас?

– Да уж изловила! Как вы, г. Ластов, возмужали, похорошели! Эти бакенбарды...

– А вы, Мари, по-прежнему очаровательны.

– Насмешник!

– Seriously.

Он сбросил ей на руки шинель и вошел в изящно убранный зал, освещенный матовой, колоссальных размеров лампой. Навстречу ему вышла, самодовольно улыбаясь, с протянутой рукою Наденька.

– Ага! Приманка-то – хорошенькая знакомка – подействовала, и ведь в ту же минуту, точно шпанская мушка. Хотела бы я знать, когда бы вы вспомнили нас без этой мушки?

– Я, право, все собирался зайти...

¹⁴ в надежде (лат.)

¹⁵ Господин, Время (Часы; лат.)

– Сочиняйте больше! Знаем мы вашего брата, ученого: вам бы только книг да микроскоп, а другие хоть смертью помирай – и ухом не поведете. Ну, да Бог вас простит. Садитесь, расскажите что-нибудь. Скоро вы защищаете диссертацию? Уж не взыщите, а мы тоже будем на диспуте и оппонировать будем. Не страшно вам? Ну, а сходка наша вам как понравилась? С тех пор и глаз не показали. Видно, не пришлась по вкусу?

Студентка была в духе: слова так и лились у нее. Не дождавшись ответа, она спохватилась:

– Да где же Мари? Holla, Marie, kommen Sie mal her!¹⁶.

Швейцарка тут же явилась на зов и остановилась в дверях.

– Чего прикажете?

– Да вы высматривали в щелку?

– Нет, фрейлейн... я... я была тут за лампой.

– За лампой? Вот как! Слышите, г. Ластов, вы – лампа? Ну, что ж, моя милая, подойдите ближе, полюбуемся на вашу лампу.

Наденька говорила это легким, шутивым тоном, невинно наслаждаясь замешательством служанки.

– Да я и отсюда вижу их.

– Вы не близоруки? Ха, ха! Полноте, не жеманьтесь.

Она подошла к швейцарке, повела сопротивлявшуюся за руку к дивану и принудила ее сесть рядом с учителем.

– Вот так. Теперь расскажите своей лампе обстоятельно, что побудило вас бросить Швейцарию?

– Да, любезная Мари, меня это серьезно интересует, – попросил со своей стороны и Ластов.

– Близких родных у меня нет... Хлеб у нас зарабатывать трудно... Один знакомый мне энгадинец имеет здесь кондитерское заведение: в Энгадине все занимаются этим делом... В России многие сделали свое счастье... Я достала адрес энгадинца, связала свои пожитки и поехала...

Так повествовала отрывочными фразами швейцарка, исподлобья, пугливым, но пылким взором окидывая по временам Ластова.

– Коротко и ясно, – сказала Наденька. – Но вы не рассказали еще, как попали ко мне. Проходя мимо кондитерской, я в окно увидела ее за прилавком и, разумеется, поспешила войти, поздороваться с ней. Она, казалось, еще более моего обрадовалась и первым вопросом ее было: «А вы не замужем за г. Ластовым?» Я расхохоталась и обозвала ее сумасшедшей. «Но, он, – говорит, – бывает у вас?» Вот что значит истинная-то любовь! Можете поздравить себя, г. Ластов, с победой. «Бывает, – говорю, – да только как красное солнышко». – «Так возьмите, – говорит, – меня к себе?» – «Дурочка! – говорю. – В качестве чего же я возьму вас к себе?» – «Да горничной, кухаркой, чем хотите; я, говорит, и стряпать умею». Преуморительная. Особой для себя кухарки я, конечно, не держу, но горничную я отпустила на днях и предложила Мари занять ее место. Так-то вот она у меня, а все благодаря вам, своей лампе.

Мари, не собравшаяся еще с духом, начала, краснея, заминаясь, оправдываться, когда речь ее была прервана появлением отца Наденьки, Николая Николаевича Липецкого, осанистого старика с владимирской ленточкой в петличке домашнего сюртука.

Кивнув головою гостю ровно на столько, сколько предписано российским кодексом десяти тысяч церемоний отечественным нашим мандаринам, он снисходительно протянул ему левую руку.

– Кажется, видел вас уже у себя? Если не совсем ошибаюсь: г-н..?

¹⁶ Эй, Мари сюда на минуту, пожалуйста (нем.)

– Лев Ильич Ластов, – предупредила учителя студентка. – Был шафером у Лизы. Впрочем, он явился не к вам, папа, а ко мне.

– Помню, помню, – промолвил г. Липецкий, пропуская мимо ушей последнее замечание дочери. – Весьма приятно возобновить знакомство. А вы-то по какому праву здесь? – вскинулся он внезапно с юпитерской осанкой на швейцарку, торопливо приподнявшуюся при его приходе с дивана, но с испуга так и оставшуюся на том же месте.

Мари оторопела и, зардевшись как маков цвет, перебирала складки платья.

– Я., я... – лепетала она.

– Вы, кажется, забываете, какое место вы занимаете в моем доме?

– Это я усадила ее, – выручила девушку молодая госпожа ее, – она сама ни за что бы не решилась. Но я все-таки не вижу причины, папа, почему бы ей и не сидеть подобно нам? Кажись, такой же человек?

Сановник насупился, но вслед затем принудил себя к улыбке и потрепал подбородок дочери.

– Кипяток, кипяток! Как раз обожжешься. Ты, мой друг, думала, что я говорю серьезно? Я очень хорошо понимаю, что того... с гуманной точки зрения, и низший слуга наш имеет равное с нами право на существование и, прислуживая нам, оказывает нам, так сказать, еще в некотором роде честь и снисхождение. Вы, г. Ластов, разумеется, также из людей современных? Свобода личности, я вам скажу, великое дело! Вот и Надежда Николаевна паша может делать что ей угодно; мы полагаемся вполне на ее природный такт.

– А не отпускаете никуда без ливрейной тени? – сказала с иронией студентка.

– А, моя милая, без этого невозможно. Да и тут я, собственно говоря делаю только уступку светским требованиям твоей татап. Да вы то что ж прилипли к полу? – повернулся он опять круто, с ледяною вежливостью, к горничной, о которой было забыл в разгаре панегирика свободе личности. – Лампа в передней у вас зажжена?

– Я только собиралась зажечь, когда...

– Так потрудитесь окончить свое дело, а там мы еще поговорим с вами. Ну-с, скоро ли?

Мари со смирением оставила зал.

– С людьми необходима того-с... известная пунктуальность, – пояснил г. Липецкий, – чтобы не зазнавались. Вы понимаете? Как гуманно мое с ними обращение, явствует уж из того, что этой горничной я говорю даже: *вы*. Привыкла, ну, и пускай. В каждом человеке, по-моему, надо уважать личность.

– Что к это, однако, Куницыны? – заметила Наденька.

– А они также хотели быть? – спросил отец.

– Да, обещались. Но вы, папа, пожалуйста, уберите тогда к себе, да и маменьки не присылайте: все как-то свободнее.

– Ах, ты, моя республиканка! Тут в передней раздался звонок.

– Ну, они. *Quand on parle du loup...*¹⁷ Прощайте, папа, отправляйтесь. Вы, Лев Ильич, помните сказку про золотого гуся?

– Помню. Это где один держится за другого, а передний за гуся?

– Именно. Тут Куницын гусь; за ним вереницей тянутся Моничка, Диоскуров и Пробкина. Примечайте.

Ожидаемые вошли в комнату.

Куницын, розовый, но уже заметно измятый юноша, с вытянутыми в обоюдоострую иглу усиками над самонадеянно вздернутой губой и со стеклышком в правом глазу, с развязною небрежностью поцеловал руку Наденьки, которую та, однако, с негодованием отдернула, потом хлопнул Ластова приятельски по плечу.

¹⁷ Когда упоминают волка, тотчас увидят его хвост (*лат.*)

– Что ж ты, братец, не явился на крестины нашего первородного? Вот, я тебе скажу, крикун-то! Sapristi¹⁸! Зажимай себе только уши. Наверное, вторым Тамберликом будет. И что за умница! По команде кашу с ложки ест: un, deux, trois¹⁹!

Madame Куницына, или попросту Моничка, востроносая, маленькая брюнетка, и Пробкина, пухленькая, разряженная светская кукла, звонко чмокнулись с молодой дочерью дома. Диоскуров, юный воин в аксельбантах, фамильярно потряс ей руку.

– Ну, что? – был ее первый вопрос ему. – Свели вы, по обещанию, денщика своего в театр?

– И не спрашивайте? – махнул он рукой. – Сам не рад был, что свел.

– Что так?

– Да взял я его, натурально, в кресла. Рядом с ним, как на грех, сел генерал. Филат мой и туда, и сюда, вертелся, как черт на юру, почесывался, пальцами, как говорится, обходился вместо платка. Вчуже даже совесть забирала. А вернулись домой – меня же еще укорять стал: «На смех, что ли людям в киятр-то взяли? Чай, много, – говорит, – денег потратили?» – «По два, – говорю, – рубля на брата.» Он и глаза вытаращил. «По два рубля? Да что бы вам было подарить мне их так; и сраму бы не было, и польза была бы». А уж известно, какую пользу извлечет этакий субъект из денег: просадит, с такими же забулдыгами, как сам, в ближней распивочной.

– C'est superbe²⁰! – скосила презрительно губки Моничка. – Вперед вам наука: не сажайте мужика за стол – он и ноги на стол.

– Теперь я его, разумеется, иначе как плебеем и не зову: «Набей, мол, плебей трубку, подай, плебей, мокроступы». Что же, однако, mesdames, – предложил Куницын, – хотите поразмять косточки? Сыграть вам новый вальс brillant?

– Нет, уж избавьте, – отвечала студентка, – эквилибристические упражнения пригодны разве для цирка, а не для людей разумных, если случайно не соединены с гигиенической целью. По мне уж лучше в маленькие игры.

– Ах, да, – подхватила Пробкина. – В веревочку или в кошку-мышку?

– В фанты, в фанты! – подала голос Моничка.

– Ну да, – сказала Наденька, – потому что в фантах можно целоваться. Все это плоско, избито. Под маленькими играми я разумею только les petits jeux d'esprit²¹. Погодите минутку; сейчас добудем материалов.

Она отправилась за бумагой и прочими письменными принадлежностями.

– Теперь стулья вокруг стола. Да живее, господа! Двигайтесь.

– Fi, какая скука, – зевнула Моничка. – Верно, опять эпитафии или вопросы да ответы?

– Нет, мы займемся сегодня поэзией, откроем фабрику стихов.

– Это как же? – спросил кто-то.

– А вот как. Я, положим, напишу строчку, вы должны написать под нею подходящую, рифмованную, и одну без рифмы. Отогнув две верхние, чтобы их нельзя было прочесть, вы передаете лист соседу, который, в свою очередь, присочиняет к вашей нерифмованной строке опять рифмованную и одну без рифмы и передает лист далее. Процедура эта начнется одновременно на нескольких листах, и в заключение получится букет пренелепых стихотворений, хоть сейчас в печать, которые и будут прочтены во всеобщее назидание. Понятно? Ну, так за дело.

¹⁸ Ей-Богу (фр.)

¹⁹ один, два, три (фр.)

²⁰ Это превосходно (фр.)

²¹ маленькие игры ума (фр.)

Карандаши неслышно заскользили по бумаге, перья зашуршали, передаваемые из рук в руки листы зашуршали.

Моничка, приютившая под сенью своего пышного платья с одной стороны – мужа, с другой – Диоскурова, поминутно шушукалась с последним – вероятно, советуясь насчет требуемой в данном случае рифмы.

Куницын занялся Пробкиной. В начале барышня эта хотела вовлечь в разговор и офицера.

– Давно уж тебя дожидалась я тщетно, —

прочла она вслух. – Ах, m-г Диоскуров, будьте добренький, пособи́те мне?

Он, не говоря ни слова, взял лист и, не задумываясь, приписал:

– Ужели, вздыхала, умру я бездетно?

Хоть черт бы какой приударил за мной!

Потом снова обратился к Моничке.

– Скверный! – пробормотала Пробкина и, с ожесточением в сердце, уже нераздельно посвятила свое внимание Куницыну.

Наденька и Ластов, сотрудничествуя в стихотворных пьесах всего общества, сочиняли одну исключительно вдвоем. Начала ее Наденька, и самым невинным образом:

– Из-за домов луна восходит.

Ластов продолжал:

– А у меня с ума не сходит,

Что все изменчиво – и ты.

– Оставьте глупые мечты,

На жизнь практичнее взгляните,
ответствовала студентка.

– Увы! Как волка ни кормите,

А он все в лес; таков и я.

– Ну, вот! Как будто и нельзя

Однажды сбросить волчью шкуру?

Не ограничиваясь определенной в игре двойною строчкой, Ластов отвечал четверостишием:

– Да, шкуру, только не натуру:

Как волку вольный лес и кровь,

Так мне поэзия, любовь,

Предмет любви необходимы.

– Ага! Так вы опять палимы
Любовной дурью? В добрый час.

– В тебе же, вижу я, угас

Священный жар огня былого?

Наденька насмешливо взглянула на Ластова и приписала в ответ:

– Какого? Повторите снова.

И кудреватое, и темно.
– Да, видно, так и быть должно,
Что нам уж не понять друг друга.
Хотя ты и лишишься друга —
Десяток новых под рукой.
Прощай, мой друг, Господь с тобой.

Девушка со стороны, сверху очков, посмотрела на учителя: не шутит ли он? Но он глядел на нее зорко и строго, почти сурово. Она склонилась на руку и, после небольшого раздумья, взялась опять за перо:

– Зачем же? Разве в мире тесно?
А впереди что – неизвестно.
– Как? Что я слышу? Прежний пыл
В твоей груди заговорил?

Студентка, уже раскаявшаяся в своей опрометчивости, вспыхнула и, не стесняясь ни рифмой, ни размером, черкнула живо, чуть разборчиво:

– Ты думаешь, что возбуждал во мне
Какой-то глупый пыл? Как бы не так!
Ничто, никто на свете
Не в состоянии воспламенить меня,
Всего же менее ты...

Не успела она дописать последнюю строку, как Куницын, сидевший насупротив ее, перегнулся через стол и заглянул в ее писание.

– Эге, – смекнул он, – сердечный дуэт?

Наденька схватила лист в охапку, смяла его в комочек и собиралась упрятать в карман. Ластов вовремя удержал ее руку, в воздухе, разжал ей пальцы и завладел заветным комочком.

– Позволь заметить тебе, – обратился к нему Куницын, – что ты в высшей степени невежлив.

– Позволяю, потому что я в самом деле поступил невежливо. Но мне ничего более не оставалось.

– Лев Ильич отдайте! Ну, пожалуйста! – молила Наденька, безуспешно стараясь поймать в вышине руку похитителя.

– Не могу, Надежда Николаевна, мне следует узнать...

– Будьте друг, отдайте! Бога ради!

В голосе девушки прорывались слезы. Учитель взглянул на нее: очки затемняли ему ее глаза, но молодому человеку показалось, что длинные ресницы ее, неясно просвечивавшие сквозь синь очков, усиленно моргают. Он возвратил ей роковое стихотворение:

– На-те, Бог с вами.

Она мигом развернула лист, разгладила его, изорвала в мелкие лепестки и эти опустила в карман. Прежняя шаловливая улыбка зазмеилась на устах ее.

VI

– Вы не признаете ревности, Рахметов?

– В развитом человеке не следует быть ей. Это искаженное чувство, это фальшивое чувство, это гнусное чувство, это явление того порядка вещей, по которому я никому не даю носить мое белье, курить из моего мундштука.

Н. Чернышевский

– Вы, Лев Ильич, право, совсем одичаете, если станете хорониться за своими книгами. Не возражайте! Знаю. Вечный громоотвод у вас – диссертация. Что бы вам бросить некоторые частные уроки, от которых вам нет никакой выгоды? Тогда нашлось бы у вас время и на людей посмотреть, и себя показать.

– Да я, Надежда Николаевна, и без того даю одни прибыльные уроки.

– Да? Так полтинник за час, по-вашему, прибыльно?

– Вы говорите про Бредневу?

– А то про кого же? На извозчиков, я думаю, истратите более.

– Нет, я хожу пешком: от меня близко. Даю же я эти уроки не столько из-за выгоды их, как ради пользы; подруга ваша прилежна и не может найти себе другого учителя за такую низкую плату.

– Так я должна сказать вам вот что: заметили вы, как изменилась она с того времени, как вы учите ее?

– Да, она изменилась, но мне кажется, к лучшему?

– Гм, да, если кокетство считать качеством похвальным. Она пудрит себе нынче лицо, спрашивала у меня совета, как причесаться более к лицу; каждый день надевает чистые воротнички и рукавички...

– В этом я еще ничего дурного не вижу. Опрятность никогда не мешает.

– Положим, что так. Но... надо знать и побудительны причины такой опрятности!

– А какие же они у Авдотьи Петровны?

– Ей хочется приглядеться вам, вот что!

– Ну, так что ж? – улыбнулся Ластов.

– Как что ж? Вы ведь не женитесь на ней?

– Нет.

– А возбуждаете в ней животную природу, влюбляете ее в себя; вот что дурно.

– Чем дурно? С тем большим, значит, рвением будет заниматься, тем большую приятность будет находить в занятиях.

– А, так вы обрадовались, что нашлась наконец женщина, которая влюбилась в вас? Вот и Мари также равнодушна к вам. Прыгайте, ликуйте!

– А вы, Надежда Николаевна, когда в последний раз виделись с Чекмаревым?

Наденька покраснела и с ожесточением принялась кусать губу.

– Он, по крайней мере, чаще вашего ходит к нам, и я... и я без ума от него. Вот вам!

– Поздравляю. Стало быть, моя партия проиграна и мне не к чему уже являться к вам?

– И не являйтесь, не нужно!

– Как прикажете.

Куницын, вслушивавшийся в препирания молодых людей, которые вначале происходили вполголоса, потом делались все оживленнее, разразился хохотом и подразнил студентку пальцем.

– А, ай, Nadine, ай, ай, ай!

– Что такое?

– Ну, можно ли так ревновать? Ведь он еще птица вольная: куда хочет, туда и летит. Наденька зарделась до ушей.

– Да кто же ревнует?

– На воре и шапка горит! Пора бы вам знать, что ревность – бессмысленна, что ревность – абсурд.

Тут приключилось небольшое обстоятельство, показавшее, что и нашему насмешнику не было чуждо чувство ревности.

Моничка как-то ненароком опустила свою руку на колени, прикрытые тяжеловесною скатертью стола. Вслед затем под тою же скатертью быстро исчезла рука Диоскурова, и в следующее мгновение лицо молодой дамы покраснело, побагровело.

– Оставьте, я вам говорю... – с сердцем шепнула она подземному стратегу, беспокойно вертясь на кресле.

Он, с невиннейшим видом, вполголоса перечитывал нерифмованную строчку на лежащем перед ним стихотворном листе.

– М-г Диоскуров! Я вас, право, ущипну.

– Eh, parbleu, mon cher, que faites vous la, sous la table²²

²² Ну, ей-Богу, мой дорогой, что ты под столом делаешь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.